

М 39.

Р 176684

МАЯКОВСКИЙ СНАМИ



АЕТГИЗ





МАЯКОВСКИЙ

С НАМИ

Избранные произведения
В. В. МАЯКОВСКОГО

Государственное Издательство Детской Литературы
НКП РСФСР
Москва 1942 Ленинград



B. B. Малковский.
(1924)

ЖИЗНЬ СТИХА

В начале апреля 1942 года я получила письмо из Ленинграда. Писала студентка, теперь медсестра:

«Простите меня, что я считаю нужным напомнить о том, что, вероятно, вам еще в сто раз дороже, чем мне. Но у меня почему-то появилось глупое опасение: вдруг в срочных делах московской военной жизни вы забудете или вспомните слишком поздно... Ведь скоро 14-е апреля, день Маяковского, 12-я годовщина со дня его гибели. И вот я решила напомнить вам, человеку, который близко знал Маяковского, что в этот день мы все, воспитанные его стихами, с его стихами в сердце стоящие на боевых постах, снова вспомним бессмертное имя поэта, наизусть процитируем его стихи и захотим перечитать, передумать их заново.

...Я никогда не слышала и не видела живого Маяковского. Вы счастливее: вы росли около него, слышали его голос. Но я, как и все мои подруги, давно в восторженno дружим с Маяковским. И как помогал, как хорошо работал он и сражался с вами вместе в эту трудную осадную ленинградскую зиму! Помните, как у него:

...только
в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
 любовей,
 дружб
 и семей.

Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которой
вместе мерз,
конек
разлюбить нельзя».

Так писала незнакомая девушка, одна из рядовых защитниц города-героя, города-легенды. В ее письме, написанном химическим карандашом на использованных бланках госпиталя, с историей болезней на обороте, приведено много строф Маяковского. Но еще больше в нем суповой и ясной веры в завтрашний день, который принесет желанную победу. И каждая строка этого письма, строгого и страстного, — благодарность поэту, чьи стихи укрепляли в ту мужественную веру и помогали людям выразить ее.

Мне рассказывали недавно мои ленинградские друзья, как, встречая новый, 1942 год в промороженной, темной комнатке, вспоминали они строки Маяковского:

Пусть нет
у нас
виноградных лоз,
и голод —
ужины наши,
виною
обиженно-горьких слез
глаз не наполним чаши.
Мы верим,
ищем спасение от
войны
и прочих бед вам,

во всем плодородии
новый год
придет
в конце победном. .

На Урале этой зимой за двенадцать дней были построены на пустыре огромные цеха для одного военного завода. Цеха эти возводились по личному заданию товарища Сталина. На строительство пришли люди, которые до этого дня занимались в жизни со всем иными делами. Работали студенты, служащие, музыканты. Впереди, обгоняя других в соревновании, шла бригада землекопов, возглавляемая театральным художником-декоратором. Дул ледяной уральский ветер, стоял сорокаградусный мороз. И парень в ватнике и стеганых штанах, гоня по доскам настила свою тачку, звонко декламировал сквозь выгу: .

Раньше художники,
карандашами дыша,
рисуночки рисовали на загородной дачке, — |
мы не такие,
мы вместо карандаша
взяли каждый
в руки
по тачке.

В девятнадцатом году и совсем по другому поводу написал эти стихи Владимир Владимирович Маяковский. Тогда они были острой приправой к сердитому рисунку,енному в знаменитых «Окнах Роста», где работал Маяковский как поэт и художник. Но стихи Маяковского переживают сейчас свою вторую жизнь. «Железки строки» его не заржавели, не стали стихотворным ломом. Они так же воинственно и чисто сверкают, как двадцать лет назад, они так же осирры и взрывчаты, у них такая же дальнобойная, бодрящая или пригвождающая сила, какая была в те дни у «Окон Роста», сработанных Маяковским. Надежное, выверенное, благородное оружие!.. Стих пережил свое время, обрел сегодня новый смысл, начал вторую, не менее прекрасную, чем первая, жизнь. В этом и есть смысл истинного и боевого бессмертия настоящего искусства, которое, запечатлев свое время, свою эпоху, уверенное является в завтрашний день и снова открывает людям свои неисчерпаемые глубины

Я видел не так давно в одной из фронтовых газет пятистишие Маяковского. Редакция заменила в нем лишь одно слово, одно вышедшее в тираж имя, и стихи плотно стали на газетной полосе, словно их написал сегодня поэт, вместе с бойцами Красной армии идущий в наступление.

Рабочие столицы,
крестьяне окраины,
слушайте с юга вздывающийся плач.
Это над Киевом,
над столицей Украины,
тешится Гитлер-палац.

В самые тяжелые для Москвы дни, когда приближались к порогу столицы бронированные орды гитлеровцев, когда московские дни шли, как написал бы об этом снова Маяковский — «от боя к труду — от труда до атак», в канун Октябрьской годовщины, на одном из номерных московских заводов висел плакат со стихами. И то были стихи Маяковского:

Не с пустыми руками,
не торжественным шествием,
под ружьем,
за станками
революцию чествуем!

Эти же стихи видел я в Москве в майские дни 1942 года. Поэт является сегодня к нам, властно и требовательно призывая нас к борьбе, работе:

Республика,
с тобой грозят
расправиться жестоко!
Работай так,
чтоб каждый потом вымок.
Крепите оборону,
инженер и токарь,
крепи шахтер,
газетчик,
врач
и химик!

Не только стих Маяковского, но сам живой пример его жизни, вдохновенной, беспокойной, целиком мобилизованной для революции и страны, зовет сегодня нас выполнить свой долг. Грандиозный образ Маяковского, поэта-мастера, поэта-чериорабочего, трудившегося — «дела по горло, — рукав — по локти» — на самых тяжелых участках революции, высокий подвиг поэта стоит сегодня перед каждым художником, каждым писателем. На трудный и доблестный путь, которым прошел впервые в истории литературы Маяковский, вступили сегодня десятки советских поэтов и писателей. После Маяковского уже никого не удивляет, что наши поэты-лирики работают во фронтовых газетах, сочиняют стихи для плакатов, трудятся над агитками и листовками, подписывают сти-

хами своими «Окна ТАСС». Москва оклеена сегодня этими яркими и броскими плакатами. «Окна ТАСС» — это прямые потомки славных «Окон Роста», новый, своеобразный вид многострельного поэтического оружия, созданный Маяковским.

Его нет сейчас с нами. Но каждый из нас, на каком бы участке литературы он ни работал, стихом Маяковского, неистовой жизнью его, силой и взыскательностью его искусства проверяет сегодня свою работу. Что бы сказал Маяковский о ней? Как бы он взялся за эту тему, какие бы слова нашел он сейчас?..

Он знал, что война придет рано или поздно. «Неужели полезут на вас? — спрашивал он, отрываясь утром от газеты и обводя нас своим, навсегда запоминающимся и помрачневшим взглядом. — Неужели сунутся? — Он опускал кулак на скомканную газету. — Ужасно не хочу войны. Если случится... буду полезен...»

Он любил свою страну беспокойной, гордой и огромной любовью. Тревожно поглядывая на Запад: что готовится оттуда, хлестал фашистов жгучими и безжалостными бичами своих стихов. Со страстным омерзением и уничтожающей насмешкой изобразил он в своих стихах Муссолини.

И вот они «полезли»... Пришла война, для которой он вооружил нас своими стихами. Нет, конечно, — не только бессмертные «Окна Роста», не только газетные его стихи и плакаты вернулись сегодня в наш боевой строй.

«Маяковский с нами» — так названа эта книжка. В ней собраны те стихи поэта и отрывки из его поэм, которые сегодня, в трудное военное время, стали еще более близки нам. Эти стихи переписывают в походные тетрадки, везут с собой на фронт, перечитывают в блиндажах незадолго до начала боя. Эти стихи стали неотъемлемой частью нашего представления о жизни, о родине, о народе нашем. Они вошли в наше сознание, в наш язык. Когда мы говорим о своей любви к родной стране, когда мы думаем о просторах мира или стремимся найти точное выражение для большого чувства, переполняющего нас, будь то вера в силу народа или любовь к женщине, — стих Маяковского, как верный друг, помогает нам найти правильное решение, верные слова и выводит нас на крутой подъем, к истинной правде, к высоким радостям человеческой жизни.

В этой книжке ты прочтешь стихи Маяковского о революции. Они помогут тебе почувствовать строгое величие наших дней. Каждый, кто любит литературу, поэзию, найдет в этой книге стихи, которые, как «Необычайное приключение», «Юбилейное», «Послание пролетарским поэтам», «Разговор с фининспектором о поэзии», помогут найти сегодня свое место в труде и в бою.

Великолепное разнообразие жизни, артезианские глубины больших чувств, горизонты океанов, дали заморских земель еще раз

раскроются перед тобой, когда ты перечитаешь собранные здесь стихи. Жгучая и грозная насмешка поэта поможет тебе и сегодня осмеять бюрократов, обывателей, паникеров, болтунов. О долгे гражданина и долгे патриота напомнят тебе боевые стихи Маяковского. И с новой силой всколыхнет тебя светлая гордость за страну, в которой ты живешь, когда ты вчитаешься в «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте», в главы из «Хорошо!» Войди же в широкий мир стихов Маяковского! Полной грудью вдохни чистый воздух его поэзии, освеженный грозами революции. Прислушайся к каждой строке, вбери в себя все, что с такой щедротой дала тебе звонкая сила поэта.

Взволнованная мысль поэта, чистое, не знавшее покоя сердце, ярость бойца, нежность лирических строк, размах исполинских образов и застенчивая человеческая ласка — всем вооружил он нас, чтобы легче было нам выдержать трудную пору войны, чтобы иростней мы дрались с врагом, чтобы еще беззаветнее была наша любовь к своей земле.

Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего, —
к таким
относишься
иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
выняничили,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами, —
с такою
землею пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть.

Лев Кассаль

НУ ЧТО Ж!

Раскрыл я с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло порохом
от всех границ.
Не вновь, которым за́ двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего радоваться,
но нечего грустить.
Бурна вода истории.
Угрозы и войну
мы взрежем на просторе,
как режет киль волну.

ПРИЗЫВ

В ответ на разгул белогвардейской злобы
тверже стой на посту.
Смотри напряженно! Смотри в оба!
Глаз на врага! Рука на наган!
Наши и склады, и мосты, и дороги.

Собственным,
кровным,
своим дорожа,
встаньте в караул,
бессонный и строгий,
сами
своей республики сторожа!
Таких
на охрану республике выставь,
чтоб отдали
последнее
биение и дых.
Ответь
на выстрел
молодчика монархиста
сплоченностью
рабочих
и крестьян молодых!
Думай
о комсомоле
дни и недели!
Ряды свои
оглядывай зорче.
Все ли
комсомольцы на самом деле?
Или
только
комсомольца корчат?
Товарищи,
опасность
вздымается справа.
Не доглядишь —
себя вини!
Слайкой,
стройкой,
выдержанной
и расправой
спущенной своре
шую сверни!

**МУСКУЛ СВОЙ,
ДЫХАНИЕ
И ТЕЛО
ТРЕНИРУЙ С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ВОЕННОГО ДЕЛА!**

Никто не спорит:
летом
каждому
нужен спорт.
Но какой?
Вся помахивать
гирей и рукой?
Нет,
не это!

С пользой проведи
сегодняшнее
лето.

Рубаху
в четыре пота промочив,
гол
загоняй
и ногей и лбом,
чтоб в будущем
бросать
разрывные мячи

в ответ
на град белогвардейских бомб.

Нечего
мускулы
зря нагонять.

Не нам
растить
«мужчин в соку».

Учись
вскочить
на лету на коня,
с плеча
учись
рубить на скаку.

Жир
нарастает,
тяжел и широк,
на пышном лоне
канцелярского брюшка.

Служащий,
довольно.
Временный жирок

скидывай
в стрелковых кружках.

Знай
и французский
и английский бокс,
но не для того,
чтоб скулу
сворачивать вбок,
а для того,
чтоб, не боясь
ни штыков, ни пуль,

одному
обезоружить
целый патруль.

Если
любишь велосипед —
тоже
ничего
зря солеть.

Помни.
на колесах
лучше, чем пеший,

доставишь в штаб
боевые депеши.

Развивай
дыханье,
мускулы,
тело
не для того,
чтоб зря
наращивать бицепс,
а чтоб крепить
оборону
и военное дело,
чтоб лучше
с белыми биться.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь»,
кто, забывшись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскрывлявшись
модой одежд,
подметают
бульвары
клешами.

Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.

Разве
это молодость?
Нет!

Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам переделым
скажет
именем
всех детей:



В. В. Маяковский — ученик Строгановского училища.
Москва, 1909 год.

«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой
КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!»

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни чертá в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета и кадетов дед.

Полнялся однажды преображенский ветер,
в клочья шапочку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцепали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ВЫШЕЕ О ВЛАДИМИРОМ МАНКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской ж.д. дер.)

В сто сорок солнц вакат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригород Пушкино горбил
Акуловой горою,

а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слезы!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
ванежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай запло бы!»
Что я наделал!
Я погибл
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
валилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,

гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Чорт дернул дерзости мон
орать ему, —
сконфужен
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди попробуй! —
А вот идешь —
взялось итти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоились.
И скоро,
дружбы ге тая
бю по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорлим,
вспомем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма
сияй во что попало!
Устанет то,

и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал, —
а в ём ума! —
я-то куму верю, —
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
всё
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
— Ну,
не ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие. —

Встали, ртом лбя ворон.
Скоро ли дримчится?

Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На, — сказал он бабе, —
скороходы сапоги,
к Врангелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,

шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрехнул ей:
во Твери
власть стоит Советов
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский

увидать
флаг

на Ай-Петри*.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силясь,
баба

прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В «Грандотеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.

Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе

ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвят баба:

— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вины и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то

просит счет
бабин голос слабый.

* Ай-Петри — гора в Крыму.

Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!

С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.

— Нет! —

(Бледность мелом в роже.)
— Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. —

Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортоных нету тут,
генералы тута пьют! —
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!
Этак

каждый пролетарий
жрат захочет тоже. —
— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:

— Ой,
пропшу,
защитите, власти! —

Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
всия
вспять
из бабы пища.

— Много, — молвят, — благ в Крыму —
только для буржуя,
а тебя
мою куму,
в часть препровожу я. —

Влезла
тетка
в скороход

пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрзсэфэсэрю.

Бабу видели мою
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

СЛАВКА О ДЕЗЕРТИРЕ,

утренившемся недурненько,
и в том, какая участь постигла
его самого и семью шкунника

Хоть пока
победила
крестьянская рать,
хоть пока
на границах мир,
но не время
еща
в землю штык втыкать,
красных армий
ряды крепи!
Молодцом
на коня боевого влезь,
по земле
пехотинься пеший.
С неба
землю всю
глазами оглазь,
на железного
коршуна
севши.
Мир пока,
но на страже
красных годов
стой
на нашей
красной вышке.
Будь смел.
Будь умел.
Будь
всегда
готов
первым
ринуться
в первой вспышке.
Кто
из вас
не крещен
военным огнем,

кто считает,
что шкурнику
лучше?

Прочитай про это,
подумай о нем,
вники
в этот сказочный случай.

Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.

Но — как в стаде
овца паршивая —
и меж их
рядами
имеется.

Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой.

Голова у Рябого —
пробкова.

Чуть пойдет
наш полк
против белых
в бой,

а его
и не видно,
робкого..

Дело ясное:
бьется рать,
горяча,

против
барско-буржуйского ига.

У Рябого же
слово одно:
«Для ча

буду
я
на рожон прыгать?»
Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.

Силеверст
стоит в карауле.

Подымает
пуля за пулей
вой.

Силеверст
испугался пули.

Дома
печь да щи.
Замечтал
Силеверст.

Бабья
рожа
встала
из воздуха.
Да как дернет Рябой!
Чуть не тыщу верст
пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
а там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.
Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул —
стаканов до тыщи;
задремал,
заснул
и храпит.
как Ной, —
с ГПУ
и то
не сыщешь.
А на фронте
враг
видит:
полк с дырой,
враг
пролазит
щелью этого.
А за ним
и золотозадый
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.
Лезут,
в радости,
аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!

Пролетария
гнут в бараний ног,
сыплют
в спину крестьян
манифестами.

Отошла
земля
к живоглотам назад,
наложили
наложиша
тяжкие.

Лишь свистит
в урядничьей ручке
лозы —

зной, всыпает
и в спину
и в ляжки.

Улизнувшие
бары
едут в дом.

Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.

Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.

В то село пришли,
где хранил
Силеверст.

Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.

Тычет
в хату Рябого
исправничий
перст,
посыпает занять
урядника.

Дурню
снится сон:
де в раю живет
и галушки
лопает тыщами.

Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!

То урядник
хватил
сапожищами.

«Как ты смеешь спать,
такой-рассякой,
мать твою растак
да разэтак!
Я тебя аашорю,
я тебя васеку,

и повешу
тебя напоследок!» —
«Барин!» —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом
хвать помешник
по сытой роже.
«Подавай
и себя,
и поля,
и дом,
и жену
помешику
тоже!»
И пошел
прошибать
Силеверста
пот,
вновь
припомнил
барщины мұку,
а жена его
на дворе
у господ
грудью
кормит
барскую сұку.

Сей истории
прост
и ясен сказ, —
посмотри,
как наказаны дурни.
Чтобы то же
не стряслось и у вас,
да не будет
меж вами шкурник.
Нынче
сына
даем
не царям на зарез, —
за себя
этот бóище
начат.
Провожая
рекрутов
молодолес,
проводай поя,
а не плача.
Чтоб помешники
вновь
не взнуздали вас,
не в пример
Силеверсту бедняге, —

проводите
сынов,
давайте наказ;
будьте
верными
Красной присяге.

ПРОЗА СЕДАВШИЕСЯ*

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени бна». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона»**.
Исколесишь сто лестниц.

Свет не мил.

Опять:
«Через час велели притти вам.
Заседают: —
Покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!

Все до 22-х лет
на заседания комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.

* Напечатано 5 марта 1922 года в «Известиях». Это стихотворение было отмечено Лениным. Выступая с докладом «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года, Владимир Ильич так сказал о стихотворении Маяковского:

«Вчера я случайно прочел в «Известиях» стихотворения Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и переседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно...» (Собр. соч., т. XXVII, стр. 177.)

** Т е о — театральный отдел Наркомпроса. Г у к о н — Главное управление кинозаводства при Наркомземе.

«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикые проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

**ТОВАРИЩУ НЕТТЕ* —
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ**

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».

Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой!

* Теодор Нетте — советский дипломатический курьер. Убит 5 февраля 1926 года на территории Латвии в поезде, героически защищая дипломатическую почту. Именем Нетте был назван один из пароходов Черноморского флота.

Дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте, — в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захральвали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне *
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру
Курок
аж палец свел...
Суньтесь —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы на-двоем порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.

* Роман Якобсон — лингвист и литературовед, общий знакомый Марконою и Нетте.

За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Российской,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетта.

**РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН»
И «КРАСНАЯ АВХАЗИЯ».**

Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорят на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.

Может быть, . . .
ревниует разозленный.
Может, просит:
— «Красная Абхазия!»
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал, . . .
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер. —
— Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигнали:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

ЧУДЕСА!

Как днище бочки,
правильным диском
стояла
луга
над дворцом Ливадийским.
Взопла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море.
на мир,
на Ливадию.

В царевых дворцах — мужики-санаторники.
Луна, как дура, почти в исступлении.
Глядят глаза блиновожия плоского
в афишу на стенах дворца: «Во вторник
выступление товарища Маяковского».
Сам самодержец здесь же,
гонял по залам рядом,
и по биллиардам.
И вот, где Романов дулся с маркёрами,
шары ложа под свитское ржание,
читаю я крестьянам о форме
стихов — и о содержании.
Звонок. Луна отодвинулась тусклая,
и я, в электричестве, стою на эстраде.
Сидят предо мною рязанские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами тульские,
русые пряди.
Их лица ясны, яснее, чем блюдце,
где надо — хмуреют, где надо —
смеются.
Пусть тот, кто Советам не знает пёну,
со мною станет от радости пьяным:
где можно еще читать во дворце —
что? Стихи! Кому? Крестьянам!

Такую страну
и сравнивать не с чем, —
где еще
мыслимы
подобные вещи?!

И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет?

Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоновьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стеклянный шар,
и первый
второму
заметил:
— Мишка,
оченью хороша —
в га
последняя
была рифмшка. —

И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у синей водицы.

КОРОНА И КЕНКА

Царя вспоминаю —
и меркнут слова,
Дух зайдет,
и если просто «главный».
А дарь —
не просто
всему глава,
а даже —
двуглавый.
Он сидел
в коронном ореоле,
царь людей и птиц...
— вот это чин! —
И как полагается
в орлиной роли,
клюв и коготь
на живьё точил.
Точит
да косит глаза грозный,

повелитель
жизни и казны.
И свистели
в каждом
онемевшем месте
плетищи
царевых манифестин.
«Мы! мы! мы!
Николай второй!
двуглавый повелитель
России-тюрьмы
и прочей тартарары,
царь польский,
князь финляндский,
принц эстляндский
и барон курляндский,
издевающийся
и днем и ночью
над Россией
крестьянской и рабочей...
и прочее,
и прочее,
и прочее...»
Десять лет
прошли —
и нет.
Память
о прошлом
временем грабится..
Головкой русея,
вижу,
детям
показывает шкрабица
комнаты
ревмузея.
— Смотрите,
учащие
чистописание и черчение,
вот эта бумажка —
царское отречение.
Я, мол,
с моим народом —
квиты.
Получите мандат
без всякой волокиты.
Как приличествует
его величеству,
подписал,
поставил исходящий номер —
и помер.
И пошел
по небесной
скатерти-дорожке,
оставив
бабушкам
ножки да рожки.

КРЕСТЬЯНИН, ТАК ВСТРЕЧАЙ ВРАГЕЙ!



1. КРЕСТЬЯНИН ЕСЛИ ЖДЕНЬ ВРАГЕЙ



2. КАК СНЕГА АНГЕЛА.



3. ВОЛОСЫНКА СКАЗЕТ
ПРО БАРСУКА ИСКУ



4. ВОЗЬМЕТ.



5. ПОСАДИТ.



6. ПО ГОЛОВКЕ РОГАДИТ



7. ПОПРОСИТ,
ЧТОБ ПЕСЕНКУ СЛЕДИ



8. Н ЗЕМЛЯЦЕМ НАДЕДИ.



9. И ТЫ ЕГО ПОРАДУЙ,
ПРИНИ ТАКИМ ПАРАДО

Плакат работы В. В. Маяковского (1920).

— А этот...
не разберешься —
стул или стол,
с балдахинчиками со всех сторон?
— Это, дети,
называлось «престол
отечества»
или —
«стори».
«Плохая мебель!»,
как говорил Бебель*.
— А что это за вожжи,
и рваты и просты? —
Сияют дети
с восторга и млечия.
— А это, дети,
называлось —
«бразды
правления».
Корона —
вот этот ночной горшок,
бриллиантов пуд —
устанешь, носивши. —
И морщатся дети:
— Нехорошо!
Кепка и мягше
и много красивше.
Очень неудобная такая корона...
Тетя,
а это что за ворона?
— Двуглавый орел
под номером пятым.
Поломан клюв,
острижены когти.
Как видите,
обе шеи помяты...
Тише, дети,
руками не трогайте! —
И смотрят
с удивлением
Маньки да Ванятки
на истрепанные
царские манатки.

СОЛДАТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО

Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело
тебе
до ГПУ?!

* Август Бебель (1840 — 1913) — один из вождей германской с.-д. партии; по профессии — токарь по дереву.

Железу —
иезачем
комплименты лестные.
Тебя
нельзя
ни славить
и ни вымести.
Простыми словами
говорю —
о железной
необходимости.
Крепче держись-ка!
Не съесть
врагу.
Солдаты
Дзержинского
Союз
берегут.
Враги
вокруг республики рыскают.
Не к месту слабость
и разнекленность весенния.
Будут
битвы
громще,
чем крымское |
землетрясение.
Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче
и в оба,
чекист,
смотри!
Мы стоим
с врагом
о скулу скулá,
и смерть стоит.
ожидает жатвы.
ГПУ —
это нашей диктатуры кулак
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь
и кров,
бери врага,
секретчики,
и крой
КРО!

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущеных строф
ла лирику
я
растранжиру.

Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
этую красавицу взял
и сказал: —
правильно сказал
или неправильно? —
— Я, товарищ, —
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видел
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
сле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.

Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут угольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи. |

Любить —
это с простыни,
бессонницей рваных
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Мары Иванны,
считая
своим
соперником.

Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.

Вы
к Москве
порвали нить.

Годы —
расстояние.

Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?

На земле —
огней — до неба...

в синем небе
звезд —
до черта.

Если б я
поэтом пё был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Поднимает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат

авто
по улице,
а пе свалят наземь.
Понимаюг
умницы:
человек —
в экстазе.

Сонм видений
и идей
полн

до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.

И вот
с какой-то
грошовой столовой,

когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.

Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть

из ихней
беседки сирепевой.
Чтоб подымать

и вести
и влечь,
которые глазом ослабли,
Чтоб вражки
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.

Себя

до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
человеческая,
простая.

Ураган,

огонь.
вода
подступают в ропоте.

Кто

умеет

совладать?

Можете?

Попробуйте...

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.

Объясняться лишне.

Жил,

как мать произвела, родив.

И вот мне

квартиру

дает жилищный,

мой

рабочий

кооператив.

Во — ширина!

Высота — во!

Проветрена,

освещена

и согрета. !

Все хорошо.

Но больше всего

мне

понравилось —

это:

это

белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,

это —

да что говорить об этом,

это —

ванная.

Вода в кране —

холодная крайне.

Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На краине
одном
написано:
на краине другом —
«Хол.»,
Придешь усталый,
вешаться хочется.
На щи не радуют,
ни чая клокотание.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь.
пока охота.
Просто
в комнаге
лето и Волга, —
только что нету
рыб и пароходов.
И уж распаришься,
разжаришься уж!
Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
из дырчатой
дождик-душ
железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:

погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по жолобу
промежду лопаток.
Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суще пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.
Себя разглядевши
в зеркало вправлениое,
в рубаху
в чистую
влазь.
Влажу и думаю:
— Очень правильная
эта,
наша
советская власть.

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!

Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это
животные
разной породы.

РАССКАЗ О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пята-
летку 1000 000 вагонов строительных мате-
риалов. Здесь будет гигант металлургии,
угольный гигант и город в сотни тысяч
людей.

Из разговора.

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телефогою
рабочие лежат.
И слышит
шопот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие —
и дождик
толст, как жгут;
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
по губы
шепчут в лад:
«Через четыре года
здесь
будет
город-сад!»
Свела промозглость
корчево —
неважный
мокр
уют,
сидят
в потьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шопот
громче голода, —

он кроет
капель спад:
«Через четыре
года
здесь будет
город-сад!
Здесь взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный «Гигант».
Здесь встанут
стройки
стенами.
Гудками
пар
сили.
Мы в сотню солнц
мартеами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятаится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью тучных стад,
а дальше неразборчиво,
лишь слышно — «город-сад».
Я знаю —
город будет
я знаю —
саду цветье,
когда такие люди
в стране в советской
есть!»

ОСОВОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросы, огромней слоних,
страна решает миллионнолобая.

А сбоку ходят индивидумы, а у них
мнение обо всем особое.

Смотрите, в ударных бригадах союз,
держат темп

и не ленятся,
но индивидум в ответ:
«А я остаюсь
при моем, особом мненьице».

Мы выполним пятилетку, мартены воспламеня,
не в пять лет, а в меньше,
но индивидум не верит:

«А у меня имеется, мол, особое мненьице».

В индустриализацию льем заем,
а индивидум сидит в томлении
и займа не покупает и настаивает на своем
собственном, особенном мнении.

Колхозим хозяйства бедняцких масс,

кулацкой не спугнуты злобою,
а индивидумы шепчут:

«У нас мнение имеется особое».

Субботниками бьет рабочий мир

по неразгруженным
а индивидумы
пам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
не оттягивайте
Трясина
старья
ее
машиной
Не втыкайте
и у нас
и у массы
и одна
впрягся разом, —
в сторонку и напротив.
для нас не годна, —
выжжем до дна.
в работу клинья, —
и мысль одна
генеральная линия.

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю —
какие-то затрудненъица»,
В газету
хихикает.
над цифрой трунив:
«Переборщили,
Тс-с, господа,
порадуйтесь:
какие-то
такие затрудненъишки».

Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшался день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища».
Собрав
шептунов,
врунов
и врунин,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа, говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,
не упустит
уставиться
в сто задов
любой
из очерединек.
1. вылезем ляль
из грязи
и тьмы, —
он первый:
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
«Мы
аж на тракторах
пахали».
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
Логонит
наган
врага.

Счищай
с путей завшивевших в мещанстве,
путающихся у нас
в ногах!

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с материами
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плебвое.
С почтеньем
берут, например.
паспорта
с двухспальным
английским лёвою *.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.

* Маяковский имеет в виду английский государственный герб.

На польский —
в тугой вытягивают глаза
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости.
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта дагчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
• краснокожую паспортины.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначуще
глаз носильщика,
хоть вещи
несет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
я был бы
исхлестан и распят

за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...

я
достаю
из широких штан
дубликатом
бесценнога груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней *)

Обшаркан миллионом ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица;
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбых морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde**.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.

* Эйфелева башня — стальная башня высотой в 300 метров в Париже. Вьстроена по проекту французского инженера Эйфеля в 1889 году.

** Place de la Concorde (Франц.) — площадь Согласия в Париже.

— Т-ш-ш ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят!
Луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шопоте,
ей
в радиоухо
шепчу.
жужжу).
— Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем,
башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —,
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских* вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
постов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною, —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились:
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я поднимаю рельсовый Сунт.
Бойтесь?
Трактиры застupятся стаями.

* Гильом Аполлинер (1881—1918) — французский поэт и критик.

Бойтесь?
На помонь прилет рив-гош*.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распались от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют
по первому зову —
прохожих ссыплют на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмсготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами ** на ночи продаваться.
Идемте, башня,
к нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестеньи стали,
в дымах —
мы встретим вас,
мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих п дур,

* Рив-гош — левый берег, демократическая часть Парижа. (Примеч. Маяковского.)

** Монмартр — квартал в Париже, населенный студентами, молодыми художниками; на Монмартре много увеселительных заведений.

Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складине Лувр *,
в старье лесоп Булонских ** и музеев.
Вперед,
шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдил лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня,—
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

ГОРОД

Один Париж —
адвокатов,
казармы,
другой —
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза —
От этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de Koto
donne de l'énergie» ***.
Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше,
может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик?
Ни души
не шагает рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтических арб —

* Лувр — старинный дворец в Париже; ныне музей живописи и скульптуры.

** Булонский лес — парк в Париже. (Примеч. Маяковского.)

*** «Стакан Кото вливает энергию» — реклама напитка.

неси
один
и радость,
и скорбь,
и прочий
людей скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди —
поэту
не надо много, —
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно
желанье
пучит:
мне скучно,
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau»
в плакате стоят
литеры —
каждая фут.
Совершенно верно, —
«je suis» это
«я»,
а «chameau»
это —
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских Полей!
Во все огнь —
и небу в темь,
и в чернь промокшой пыли.
В огне,
жукаами
всех систем,
жуужжат
автомобили,

Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу
умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала бы
каждый город.
Если бы был я
Вандомская колонна*.
я бы женился
на Place de la Concorde.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
слепящий бел,
а стены
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные
как года.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —

* Вандомская колонна — монумент в Париже, поставленный в 1806 году в честь побед Наполеона I.

то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический

океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плонь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону,
ладно,
пускай едут...»

Волны
будоражить мастера —
детство выплеснут;
другому —

голос милой.

Ну, а мне б
опять
 знамена простирать.

Вон пошлó,
затарахтело,
загромило.

И снова
вода
присмирила сквозная,

и нет
никаких сомнений ни в ком.

И вдруг
откуда-то —
чорт его знаёт! —

встает
из глубин
воднячий Ревком.

И гвардия капель —
воды партизаны —

взираются
ввысь
с океанского рва,

до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.

И снова
спаялись воды в одно,
волне

повелев
разбурлиться вождем

и прет болница
с под тучи
на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеводному Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле,
и вот
океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой,
хоть прямо
на пузе,
как по суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стыпешь
в блеске лунного лака,

то стонешь,
облитый пенюю ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По ширине,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

ТРОПИКИ

(ДОРОГА ВЕРА-КРУЦ-МЕХИКО-СИТИ)

Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они — священники,
не то они — художники.

Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье — кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу —
воробейчики,
а видом
шантеклеры*.
Но прежде чем
осмыслил лес

* Шантеклер (франц. *chanter-clair*) — сказочный петух с радужным оперением.

и бред,
и жар,
и дерьм я —
и день
и лес исчез
без вечера
и без
предупрежденья.
Где горизонта борозда?
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:
ни эги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю заново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ*

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материика,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
офф
Америка**.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —

* Бруклинский мост — в Нью-Йорке один из самых больших подвесных мостов.

** Юнайтед Стетс офф Америка — Соединенные штаты Америки.

так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиренный, на Бруклинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите.
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высоко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении блон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поездá
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки начатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.

Я горд
вот этой стальною милей,
живьем в ней мои видения встали —
борьба за конструкции вместо стилей,
расчет суворый гаек
и стали.

Если придет окончание света —
планету хаос разделает в лоск,
и только один останется этот
и над пылью гибели вздыбленный мост,
то, как из косточек, тоньше иголок,
тучнеют в музеях стоящие ящеры,
так с этим мостом столетий геолог
сумел воссоздать бы дни настоящие.

Он скажет: — Вот эта стальная лапа
соединяла моря и прерии,
отсюда Европа рвалась на Запад.
пустив по ветру индейские перья.

Напомнит машину ребро вот это —
сообразите, хватит рук ли,
чтоб, став стальной ногой на Мангэттен*,
и себе за губу

притягивать Бруклин?

* Мангэттен — остров, на котором расположена главная часть Нью-Йорка.

По проводам
я знаю — электрической пряди —
здесь эпоха
люди после пара —
здесь уже
люди орали по радио,
здесь люди
здесь уже
жизнь взлетели по аэро.
Здесь была
другим — одним — беззаботная,
голодный протяжный вой.
Отсюда безработные
в Гудэйн кидались
вниз головой.
И дальше картина моя
по струнам-канатам, без загвоздки
яж звездам к ногам.
Я вижу — здесь
стоял стоял Маяковский,
и стихи слагал по слогам. —

Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост —
да...
Это вешь!

домой:

Уходите, мысли, во-свойси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —

всю ночь надо мною
ногами куют.

Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:

«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!

У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.

Пролетарии
приходят к коммунизму
низов —

низов шахт,
серпов
и вил, —
я же
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.

Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за ворота,

Я хочу быть лучше других
и не быть
(лучше быть
и с видимой силы
о заборе срезать
от конца забора
перед сидением
откладывать бумагу
В. Маяковский

Автограф В. В. Маяковского.

ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
 заводом,
вырабатываящим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.

Я хочу,
чтоб сверх-ставками спеца
получало
любовищу сердце.

Я хочу,
чтоб в конце работы
запирал мои губы
заком.

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.

«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

ПОЭТ — РАБОЧИЙ

Срут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось, работать — кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб — работать дабы.
А мы
не дерево обделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.

В сетях — осетры **б1**
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделии бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие же моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишиь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

ЮБИЛЕЙНОЕ*

Александр Сергеевич,

разрешите представиться —

Маяковский.

Дайте руку!
Бот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смиренном львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я ташу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас
в запасе вечность.

* Написано в 1924 году, к 125-летию со дня рождения Пушкина.

Чтò нам
потерять
часок-другой?!

Будто бы вода —
давайте
мчать болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!

В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.

Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.

Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.

Можно
убедиться,
что земля поката, —
сять
на собственные ягодицы
и катись!

Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.

Только
жабры рифм
топырит учащенно
у таких, как мы,
на поэтическом песке.

Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную иуду.

Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.

Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.

Но поэзия —
существует —
и ни в зуб ногой.

Например,
вот это —
говорится или блеется?

Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах»*.
Дайте нам стаканы!

в горе
дуть винице,
но смотрите —
выплювают
Red и White Star'ы**
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.

Муза это
ловко
за язык вас тянет.

Как это
у вас
говаривала Ольга?..

Да не Ольга!
из письма
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижуся я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.

Вот
когда
и горевать не в состоянии —

* «Коопсах» — сокращенное название кооператива сахарной промышленности. Высеки Коопсах были синие, с оранжевыми лучами; среди оранжевых лучей касалась сахарная голова.

** «Красная и Белая звезда» — названия трансатлантических пароходных компаний.

это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячъ на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владими^р Владими^ч.
Нет,
не старость этому имя!
Тушу
вперед стремя,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...*
чтоб цензор не нацикал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.

* Entre nous (франц.) — между нами.

Кто меж нами?
С кем велите знаться?!

Чересчур страна моя
поэтами ниша.

Междн нами — вот беда —
позатесался Нáдсон.

Мы попросим, чтоб его
куда-нибудь на Ща!

А Некрасов
Коля.
сын покойного Алеши —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.

Знаете его?
вот он
мужик хороший.

Этот
нам компания —
пускай стоит.

Что ж о современниках?!

Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав.

От зевоты
скулы
разворачивает аж!

Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —

какой
однаобразный * пейзаж!

Ну Есенин,
мужиковствующих свора.

Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.

Раз послушаешь...
но это ведь из хора!

Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.

Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!

Так...

* «Однаобразны» — словообразование Маяковского, сочетание слов «однообразный» и «наобраз» (Отдел народного образования).

ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— вот так-то, мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсююкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
паша первья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перерожденным.

— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.

Вот арап!
А состязается —
с Державиным... —
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

Навели
хрестоматийный глянец.

Вы,
по-моему,
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.

Африканец!
Сукин сын Данте!
Великосветский шкода.

Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались —
до 17-го года? —
Только этого Данте бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!

Сpirитизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...

Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожалению, нету, —
впрочем, может,
это и не нужно.

Ну, пора:
рассвѣт
луцища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскывать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте
подсажу на пьедестал.
Мне бы памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы динамиту
— ну-ка, дрызны!
Ненавижу всяческую мертвечину!
Обожаю всяческую жизни!

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор! Простите за беспокойство.
Спасибо... не тревожьтесь... я постою...
У меня к вам дело деликатного свойства:
о месте поэта в рабочем строю.
В ряду имеющих лабазы и угодья
и я обложен и должен караться.
Вы требуете с меня пятьсот в полугодие
и двадцать пять за неподачу деклараций.
Труд мой любому труду родствен.
Взгляните — сколько я потерял,
какие издержки в моем производстве
и сколько тратится на материал.
Вам, конечно, известно явление «рифмы».

Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,

и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь
«гламца́дрица-ці́».

Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.

Учесть через строчку! —
вот распоряжение.

И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.

Начнешь это
слово
в строчку всозывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.

Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.

Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.

Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.

Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит.

Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?

Может,
пяточ
небывалых рифм
только и остался
что в Венесуэле.

И тянет
меня
в холода и в зной.

Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!

— Поэзия

— вся! —

езды в незнаемое.

Поэзия —

таже добыча радиа.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь,

елиного слова ради,

тысячи тонн

словесной руды.

Но как

испепеляюще

слов этих жжение

рядом

с тлением

слова-сырца.

Эти слова

приводят в движение

тысячи лет

миллионов сердца.

Конечно,

различны поэтов сорта.

У скольких поэтов

легкость руки!

Тянет,

как фокусник,

строчку изо рта

и у себя

и у других.

Что говорить

о лирических кастратах?

Строчку

чужую

вставит и рад.

Это

обычное

воровство и растрата

среди охвативших страну растрат.

Эти

сегодня

стихи и оды,

в аплодисментах

ревомые ревмя,

войдут

в историю

как накладные расходы

на сделанное

нами —

двумя или тремя.

Пуд,

как говорится,

соли столовой

съешь

и сотней папирос клуби,

чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин.

И сразу
ниже
налога рост.

Скиньте
с обложенья
нуля колес!

Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.

В вашей анкете
вопросов масса:

— Были выезды?
Или выездов нет?

А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!

У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.

А что,
если я
народа водитель
и одновременно —
народный слуга?

Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.

Машину
души
с годами изнашиваешь.

Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —

Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.

Приходит
страшнейшая из амортизаций —

автоматизация
сердца и души.
И когда
это солнце,
разжиревшее боровом,
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —

Я
уже
сгнило,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.

Подведите
мой
посмертный баланс!

Я утверждаю
и — знаю — не налью:
на фоне
сегодняшних
дальцов и пролаз
я буду
— один! —
в непролазном долгу.

Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.

Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на грехе
проценты
и пени.

Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресенье,

ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
взьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработка мой
на триста лет.
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта —
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стилоб,
и можете
писать
сами!

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.

Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый пост
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово, —
я это слово возьму
и скажу:



И. Репин и К. Чуковский. Шарж В. В. Маяковского.

— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напастовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.

Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение;
а ну, давай!
Есть
перед нами
огромная работа,
каждому человеку
нужное стихчество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей.
ни родных, —
по протекции
не свяжешь
рифм лычкой.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стонт
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.

Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами
то черта ль
пам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудькрою
в на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашы
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельней?
В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени

на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
с грудям
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без аристей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам же надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

МИ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истения весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!

Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?
Разве пульс
такой
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце

клохотать
у революции в груди. ·
Нет!
нет!
не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула.
радостью высвечен, —
хочется
итти,
приветствовать,
репортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и бголь,

ширится
добыча
угля и руды.
А рядом с этим,
копечно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, —
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных.
Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и живьём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!»

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

Российской Коммунистической Партии послан

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

(Из поэмы)

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною,
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею?
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье,
сила
и оружие.
Люди — лодки:
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозленную,
сядешь,
чтобы солнца близ,

и счищаешь
водорослей
бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чишу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тысячи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий,
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут,
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболгай.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таскаю,
не скажу
ни одному —
на место сядь.

Как бедна
у мира
слова мастерская!

Подходящее
откуда взять?

У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.

Не прожить
себя длинней.

Смерть
не умеет извиняться.

Если же
с часами плохо,

мала
календарная мера,
мы говорим —

«эпоха»,
мы говорим —
«эра».

Мы
спим
ночь.

Днем
совершаем поступки.

Любим
свою толочь
воду

в своей ступке.

А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —

«пророк»,
мы говорим —
«гений».

У нас
претензий нет,
не зовут —
мы и не лезем;

нравимся
своей жене,

и то
довольны до-нельзя.

Если же
телом и духом слит
прет

на нас непохожий,
шили —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».

Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам,
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекрестье шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Сквозь миллионы глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слез,
примерзшие
к щекам.
Богу
почести казенные
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью,
сердце, холодей.

Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
да насмешливей
морщинят кожей,
и тверже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подергивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа тверже
Знал он
слабости
знакомые у нас,
как и мы —
перемогал болезни.
Скажем,
мне — бильярд —
шахматы ему —
отращиваю глаз,
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурай,

в люди
аведя
вчерашних пешек строй.
становил рабочей — человечьей диктатурой
над тюремной капиталовой турой.
И ему в нам одно и то же дорого.
Отчего ж, стоящий от него поодаль,
я бы жизнь свою, глупея от восторга,
за одно б его дыханье отдал?
Да не я один! Да что я лучше, что ли?
Даже не позвать, раскрыть бы только рот —
Кто из вас из сёл, из кожи вон, из штолен
не шагнет вперед?!
В качке — будто бы хватил вина и горя лишку —
инстинктивно хоронюсь трамвайной сети.
Кто сейчас оплакал бы мою смертишку
в трауре вот этой безграничной смерти!
Со знаменами идут и так. Психое —
стала вновь Россия кочевой.
И Колонный зал дрожит, насквозь прохоже.
Почему? Зачем и отчего?

Телеграф
охрип
от траурного гуда.

Слёзы снега
с флаговых покрасневших век,
Что он сделал?
Кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек?

Слова
у нас,
до важного самого,
в привычку входят,
ветшают, как платье.

Хочу
снять заставить заново
величественнейшее слово —
партия.

Единица!
Кому она нужна?!

Голос единицы
тоньше писка.

Кто ее услышит? —
разве жена!

И то,
если не на базаре,
а близко.

Партия —
это
единий ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.

Плохо человеку,
когда он один.

Горе одному,
один не воин, —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.

А если
в партию
сгрудились малые, —
сдайся, враг,
замри и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,

сжатая
в один громящий кулак.
Единица — вздор,
единица — поль,
один —
даже если очень важный —
не подымет простое пятивершковое бревно,
тем более дом пятиэтажный.
Партия — это миллионов плечи,
друг к другу прижатые тую.
Партией стройки в небо взмечем,
держа в вздымаю друг друга.
Партия — спиной хребет рабочего класса.
Партия — бессмертие нашего дела.
Партия — единственное, что мне не изменит.
Сегодня приказчик, а завтра царства стираю в карте я.
Мозг класса, дело класса, сила класса, слава класса — вот что такое партия.
Партия и Ленин — близнецы-братья, —
кто более матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия,
мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин.
Ильич на Разливе, Ильич в Финляндии.
Но ни чердак, ни шалаш, ни поле

вождя
не дадут
о зверелой банде вх.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
— Товарищи,
довольно тянуть канитель! —
Гнет капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция в брюя, —
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории.
И оттуда
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидиши сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.

Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета,
и счастье
счастью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелавших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.

Когда я
итожу
то, что пробыл,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
— Товарищи,
не останавливаться!
В броневики
и на почтамт! —
Чего стали?

— Есть! —

повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло — «Аврора».
Кто ичит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.

Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошел
незаметный Ленин.

Уже
Ильичем
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре

Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки за спину.

В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,

как будто
душу
таскал из-под фраз.

И знал я,
что всё
раскрыто и понято

и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля птиловца.

Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.

Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
— утром:
— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтом,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
и рабство
богатым отданным. — [
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным! —
Буржуи
прочли
— погодите,
выловим, —
животики пятят
доводом веским, —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Керенским.
Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами залит.
и даже
безграмотным
сердце прожег.
Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».

Переходило
от близких к ближним,
от ближних
далним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
война,
война дворцам!»

Дрались
в любом заводе и пехе,
городом
из городов вытряхали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.

Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.

В очках
манжетщики,
злобой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!

Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.

Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.

Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас банды
Мамонтова.

В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом.

Отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
Да здравствует коммунизм!
Кресло за креслом,
ряд в ряд
 эта сталь,
 железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда советов.
Усаживались,
жидались усмешкою,
решали
пóходя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым —
держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?..
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще вагни!
Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.
За лебнулся
колокольчика яенужный шелк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слезы не сжуешь
с усов и щек.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались.
голову минут.
Кровь в виски,
клокочет в вене.
— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —

Этот год
видал,
чего не взвидят сто.

День
векам
войдет
в тоскливо преданье.

Ужас
из железа
выжал стои.

По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали волоком.

Разузнать —
когда и как? —
Чего таят!

В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.

Радость
ползет улиткой.

У горя
бешеный бег.

Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег.

На рабочего
у станка
вестя набросилась.
Пулей в уме.

И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди — кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассорьезничались дети,

в как дети
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
ноеставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатеночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под...
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица —
будто рана сквозная,
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
все,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердцá ему
ветками елок стели.
Он в битву вел,
победу пророчил,

и вот пролетарий —
всего властелин.
Здесь каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце вписал
любовней, чем в святыни.
Он земли велел
назвать своими,
что дедам в гробах
засеченым сняться.
И коммунары с под площади Красной,
казалось, шепчут:
— Любимый и милый!
Живи, и не надо судьбы прекрасней —
сто раз сразимся и ляжем в могилы!
Сейчас прозвучали б слова чудотворца,
чтоб нам умереть — и его разбудят, —
плотина улиц в распашку растворится,
и с песней на смерть ринутся люди.
Но нету чудес, и мечтать о них нечего.
Есть Ленин, гроб и согнутые плечи.
Он был человек до конца человечьего —
неси и казнись тоской человечьей.
Вовек такого бесценного груза
еще не несли океаны наши,
как гроб этот красный, к Дому союзов
плавущий на спинах рыданий и маршей.

Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
и люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.

В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но и эту
холодную
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.

Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызванит.

Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Желтое солнце,
косое и лаковое,
взойдет,
лучами к подножью кидается.

Как будто
забытые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.

Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы мешая,
путая даты.

Как будто
не ночь
и не звезды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.

А люди
днюют
давкою тесной.

Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.

Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закаленные.

Врываются в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.

Ступени растут,
разрастаются в риф.

Но вот
затихает
дыханье и пепье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.

Обрыв
от рабства в сто поколений
где знают
лишь золота звонкий резон.

Обрыв
и край —
это гроб в Ленин,
и дальше
коммуна
во весь горизонт.

Что увидинь?!

Только лоб его липь,
И Надежда Константиновна
в тумане

98...

Может быть,
и глаза без слез
увидеть можно больше.

Не в такие
и
смогрел глаза.

Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь благородный».

Страх.

Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке провода.
Как будто
минуту
один-на-один
остался
с огромной
единственной правдой.

Я счастлив.

Звенящего марша вода
относит
тело мое невесомое.
Я анаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.

Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!

Знаменные
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бои —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и вёками алёя,
на последнее
прощанье с Ильичем
шли
я медлили у мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Горе вот,
что срок минуты
мал —

разве
весь
охватишь ненаглядный!

Пройдут
и наверх
смотрят с опаской,
на черный,
посыпанный снегом кружок.

Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.

В минуту —
к последней четверке прыжок.

Замрите
минуту
от этой вести!

Остановись,
движение и жизни!
Поднявшие молот,
стыньте на месте.

Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.

Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.

И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.

До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.

Встает
предо мной
у знамён в озарении
темный
земной
неподвижный шар.

Над миром гроб
неподвижен и нем.

У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.

Но вот
издалека,
оттуда
из алом
в мороз,
в караул умолкнувший наш
чей-то голос:
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже.—
реже,
ровнее,
тверже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с плошади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое занятое
твёрдыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеняна
рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
— Трудно
будет
республике без Ленина!
Надо заменить его —
кем?
И как? —
Довольно
валиться
на перине клоповой!
Товарищ секретарь!
На тебе —
вот —
просим присесть
к ячейке еркаповой
сразу.
коллективно,
весь завод... —
Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.

Четыреста тысяч
от стакана
горячих —

Ленину
первый
партийный венок.
— Товарищ секретарь,
бери ручку...
Говорят — заменим...
Надо, мол...
Я уже стар —
берите внутика,
не отстает —
подай комсомол. —
Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
шора
подводным кротам.
«По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там».
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей
разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети —
тра-та-та-та-та,
та-та-та-та.
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся.
пойдем на штыки».
Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильинцева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,

красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
вызывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

ХОРОШО!
Октябрьская поэма
(Из поэмы)



Время —
вещь
необычайно длинная —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
страфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.

Это было
с бойцами
или страной,
вли
в сердце
было
в мое.

Я хочу,
чтобы, с этой
из квартирного
мирка,
шел опять
на плечах
как штыком,
строкой
пулеметной пальбы,
просверкав.

Чтоб из книги
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
стройная
и бунтующая сила.

Этот день
воспевать
никого не найдем.

Мы
распишем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел. —



«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —

невмоготу.
Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...» —
в зря.

Где земля и где закон,
чтобы землю выдать к лету? —
Нету!
Что же дают за февраль,
за работу, за то,
что с фронтов не бежишь? —

Шин.
На шее кучей Гучковы,
черти, министры, Родзянки...
Мать их за ноги!
Власть к богатым рыло воротит, —
чего подчиняться ей?!

Бей!!»
То громом, то шепотом этот ропот
сползал из керенской тюрьмы-решета.

В деревни шел по травам и тропам,
в заводах сталью зубов скрежетал.

Чужие партии бросали швырком.

На что им сбор болтунов дался?! —

И отдавали большевикам гроши,
и силы, и голоса...

До самой мужичьей земляной башки

докатывалась слава, —
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —



Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили.
старели.
Дворец
ве думал
о вертлявом постреле, —
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на лежурную речь.
Глаза
у него
бонапартии
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
свою славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,

как щебечет
иной адъютантник:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если же
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказав,ув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите
этот,
как его, —
отряд!
Ленин?
Большевики?
Что?
Не дают?
Арестуйте и выловите!
Не слышу без очков.



V. V. Маяковский с собакой Булькой (1928).

Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу!..
Пришит к истории,
пронумерован и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.



Дуя,
как всегда,
октябрь
ветрами,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызывая.

Под мостом
Нева-река,
По Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший. —

«В рог,
в барабан! —
Взбунтовавшиеся рабы!..»

Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы*.

А в Смольном,
в думах
о битве и войске,

Ильич
грифированный
мечет шашки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.

Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.

Отряды рабочих,
матросов,
голи
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.

Две тени встало.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.

И двор
дворцовый
руками решетки

* Кексгольмцы — гвардейцы лейб-гвардии Кексгольмского полка.

стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы *.
«В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским ** дурам?!
Приказывали б
на штурм».
Но тени
боролись,
спутав лапы, —
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нервá.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы... ***
— А Керенский —
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.

* Павловцы — юнкера Павловского пехотного училища.

** В числе отрядов, выступавших на стороне контрреволюции в 1917 году, был женский батальон, который возглавляла Бочкарёва.

*** Михайловцы и константиновцы — юнкера Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ.

И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,
в мягких мебелях
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они

упадут
переспевшой грушею,
как только
их
потрясут.

Голос — редок.
Шопотом,
знаками.
— Кéренский где-то? —
Он?

За казаками. —
И снова молча.
И только
под вечер:
— Где Прокопович? —
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,
глядит
неласковая

Аврорых
башен
сталь.

И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.

Шум,
который
теск родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..

Дотянуться смог!

По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху —
город
как будто взорвал —
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна —
над Петропавловкой
взвился
фонарь,
восстания
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном.
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями оранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
громели,
бились
сапоги я приклады.

Какой-то
смущенный
сукня сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаша:
«Ты,
парнишка,
выкладай
часы
теперича
наши!»
Топот рос
и тех
сгреб,
забвл,
зашеб,
затыркал.
Вабились,
под галстух —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.
Ва двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —
А двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину,
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?»
Слезы!
Кончилось ваше время».
А в Смольном
толпа,
растопырив груды,
покрываала
песней
фейерверк сведений.

Впервые
вместо:
— и это будет... —
дели:
— и это есть
наш последний... —
До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмоблены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
В Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толкоб.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.



Холод большой.
Зима здоровá.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,

наши
грузим
древа.
Можно
уйти
часа в два, —
но мы —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее —
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
всё стерпя,
чтоб жизнь,
колеса дней торопя,
бежала
в железном марше
в наших вагонах,
по нашим степям,
в города
промерзшие
наши.
«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядей?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.



Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
и собака
Щеник.
Шапочку
взял
оборванную

и вытащил салазки.

— Куда идешь? —

— В уборную
иду.

На Ярославский.

Как парус,

шуба

на весу,

воняет

козлом она.

В санях

полено весу,

забрал

забор разломанный.

Полено —

тушею,

тверже камня.

Как будто

вспухшее

колено

великанье.

Вхожу

с бревном в обнимку.

Запотел,

вымок.

Важко

и чинно

строгаю перочинным.

Нож —

ржа.

Режу.

Радуюсь.

В голове

жар

подымает градус.

Зацветают луга,

май

поет

в уши. —

Вто

тянется угар

из-под черных вьюшек.

Четверо сосулек

свернулись,

уснули.

Приходят

люди,

ходят,

будят.

Добудились еле —

с углей

угорели.

В окно —

сугроб

глядит горбат.

Не вымерзли покамест?

Морозы

в ночь
идут, скрипят
спегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем

заката
облит.

По розовой

глади
моря
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.

Я

много
в теплых странах плутал.

Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота

любовей,
дружб
и семей.

Лишь лежа
в такую вот гололедь,

зубами
вместе
проляскав —

поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.

Землю,
где воздух,
как сладкий морс,

бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которой
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.



Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники --
не очень
сытенькие,
ве очень
голодненькие.

Если
я
чего написал,
если
чего
сказал, --
тому виной
глаза небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал --

чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
даe
морковники
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.

Мокрые,
тощие
подмышкой
дровинки
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
входили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.

Мне
легше, чем всем, —
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусок
конский.
Скрип —
дверь,
плачa.
Сестра
младшая.

— Здравствуй, Володя! —
— Здравствуй, Оля! —
— Завтра новогодне —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не валится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой —
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно. —
с него
идут
снега,
мягка
снегов,
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.

И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.

Ушли
тучи
к странам
гучным.
В лицо вам,
толице
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из иищей
нашей
земли
кричу:

— Я
землю
эту
люблю! —
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал, —
нельзя
никогда
забыть!



Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
размаха
шаги сажёны.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая, —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам,
с унылым
пудом сенца,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищества тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отчество,
республику мою!



На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий, —
носил,
с миллионами,
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.

Сюда,
под траур
и плеск
чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча, —
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.

Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.

Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы, —
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
манаши шельмы.

Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
сттуда откуда-то...

оттуда,
где Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голого.
Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сияньи,
в яви
в денней...

Стена.
И женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.
Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже
и злей,
и
как нагроможденные книги —
его
мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, —
души
не смущу
мертвизной, —

он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
непускают,
и меня
останавливают имена.
Вот с этим
виделся
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась, —
и кровью
газета намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
решающему —
житъе,
скажу
не задумываясь:
— Делай ее
с товарища
Дзержинского. —
Кто костьми,
кто пеплом
стенам под столу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте

товарищеским
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве:
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
— Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна. —
В мире
насилия и денег,
тюрем
и петель витья —
ваша
великие тени
ходят,
будя
и ведя. —
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину
не свила?
Скажите —
цела?
Скажите —
едина?



*V. V. Mayakovsky на выставке «20 лет работы».
1 февраля 1930 года.*

Готова ли
к бою
партийная сила? —
— Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки оштениши,
с первым
приказом:
«Вперед!»



Я
земной шар
чуть не весь
обошел. —
и жизнь
хорсха,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей, —
И того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.
Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты:
вины,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены».
Стала
оперяться
моя
кооперация
Бьем
грешом.

Очень хорошо.
Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
это
мой труд
вливаются
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой, —
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
не совейте
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо —
очень хорошо.
Надо мною
небо —
синий
шелк.
Никогда
не было
так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики
мои.
Встал
словно дерево я.

Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться!
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут
у меня на виду.
Барабану
в бока
бьют
войска
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
возятся, —
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздух \acute{a} береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка —
вовек чтоб
не смолкла, —
побольше
ситчика

моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.
Как хо-
рошо!
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды —
венники.
Сидят
папаши.
Каждый
хутор.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа люба.
Сеют,
пекут
мне
хлеба.
Доят,
пашут,
ловят рыбцу;
республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
пô сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!

Жизнь прекрасна
и
удивительна.

Лет до ста
растя
нам
без старости.
Год от года
растя
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем деръме,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
крова эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадила садик мило
дочка,
дачка,
водь
и гладь.
«Сама садик я садила,
сама буду поливать».
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот, —

кудреватые Митрейки.

кудреватые Кудрейки —

кто их, к чорту, разберет!

Нет на прорву карантина —

мандолинят из-под стен:

«Тара-тина, тара-тина,

т-эн-и...»

Неважная честь,

чтоб из этаких роз

мои извяяния высились

по скверам,

где харкает туберкулез,

где с хулиганом

да сифилис.

И мне

агитпроп

в зубах навяз,

и мне бы

строчить

романсы на вас, —

доходней оно

и прелестней.

Но я

себя

смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Слушайте,

товарищи потомки,

агитатора,

горлана-главаря!

Заглуша

поэзии потоки,

я шагну

через лирические томики,

как живой

с живыми говоря.

Я к вам приду

в коммунистическое далеко

не так,

как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет

через хребты веков

и через головы

поэтов и правительств.

Мой стих дойдет,

но он дойдет не так, —

не как стрела

в амурно-лировой охоте,

не как доходит

к нумизмату стершийся пятак

и не как свет умерших звезд доходит.

Мой стих

трудом

громаду лет прорвет

и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках-волосках
с полупохабщины
не разаляться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего род,
готовая
рвануться в гибе,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.

Велели нам
итти
года труда под красный флаг
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком итти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врвалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плется слава
в похоронном марше.—
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши.
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою,—
ведь мы свои же люди,
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
Из Леты
выплывают
остатки слов таких,
как «преституция»,
«туберкулез»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,

поэт
вылизывает
чахоткины плевки
щершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай
быстрый протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лев Кассиль — Жизнь стиха</i>	3
<i>Ну что ж!</i>	9
<i>Призыв</i>	—
<i>Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела!</i>	10
<i>Секрет молодости</i>	12
<i>Сказка о красной шапочке</i>	14
<i>Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче</i>	—
<i>Рассказ про то, как кума о Брангеле толковала без всякого ума</i>	17
<i>Сказка о дезертире</i>	20
<i>Прозаседавшиеся</i>	25
<i>Товарищу Нетте — пароходу и человеку</i>	26
<i>Разговор на Одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия».</i>	28
<i>Чудеса!</i>	29
<i>Корона и кепка</i>	31
<i>Солдаты Дзержинского</i>	84
<i>Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви</i>	36
<i>Рассказ литеящика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру</i>	39
<i>Стихи о разнице вкусов</i>	41
<i>Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка</i>	42
<i>Особое мнение</i>	44
<i>Любители затруднений</i>	45
<i>Стихи о советском паспорте</i>	47
<i>Париж</i>	49
<i>Город</i>	52
<i>Атлантический океан</i>	54
<i>Тропики</i>	57
<i>Бруклинский мост</i>	58
<i>Домой!</i>	61
<i>Поэт — рабочий</i>	64
<i>Юбилейное</i>	65
<i>Разговор с фининспектором о поэзии</i>	72
<i>Послание пролетарским поэтам</i>	78
<i>Мы не верим!</i>	82
<i>Разговор с товарищем Лениным</i>	83
<i>Владимир Ильич Ленин. (Из поэмы)</i>	85
<i>Хорошо! (Из поэмы)</i>	108
<i>Во весь голос</i>	138

Составители сборника
В. ПЕРЦОВ и О. РЕЗНИК

Обложка
Г. ФИШЕРА

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор *И. Воробьев*.
Подписано к печати 4/IX 1942 г.
9 печ. л. (10,7 уч.-изд. л.). 52 800 экз.
в печ. л. Тираж 50000 экз. Л92591.
Заказ № 2260. Цена 3 р. 50 к.

Фабрика детской книги Детгиза
Наркомпроса РСФСР. Москва,
Сущевский вал. 49.